

«Доктор Билл» — это не просто сборник историй. Это убойная доза сатиры на мир, где сложные проблемы требуют абсурдно простых решений. Это книга, которая прочищает мозги лучше любого философского трактата и заставляет хохотать там, где принято скорбно морщить лоб. Если вы готовы к тому, что ваш внутренний мир перевернут, встряхнут и поставят на место с помощью отборного юмора и пары ласковых матерных, — добро пожаловать в кабинет Доктора Билла. Прием начался.



Геннадий Колодкин

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Геннадий Колодкин

Доктор Билл

«Автор»

2026

Колодкин Г.

Доктор Билл / Г. Колодкин — «Автор», 2026

Встречайте Доктора Билла — гения, циника и, возможно, величайшего диагноста современности. Его кабинет обставлен кожей последнего носорога (из «Икеи»), а мысли записывает самопишущая японская клавиатура. Он пьет чай, крепкий, как рукопожатие Сталина, и ставит диагнозы, которые не снились и Фрейду. К нему приходят пациенты с несварением души, аллергией на совесть и запором мыслей. И Доктор Билл находит для каждого свое, единственно верное лекарство. Застряла в организме «Критика чистого разума» Канта? Пропишем курс Дарьи Донцовой. Мучает метафизическая отрыжка Шопенгауэром? Срочно в караоке — лечиться Стасом Михайловым!..

Геннадий Колодкин

Доктор Билл

Фэм Бурдин²

ДОКТОР БИЛЛ

Короткий рассказ

Геннадий Колодкин

Геннадий Колодкин — это автор, который пишет так, будто ворвался на скучную литературную вечеринку с бензопилой и ящиком текилы. Его стиль — это намеренный, почти хулиганский отказ от полутонов и изящной словесности в пользу хлесткого, brutального юмора и обезоруживающей прямоты. Он не боится ненормативной лексики, абсурда и гротеска, используя их как инструменты для препарирования современной действительности, полной фальши и напыщенности.

(Вал Пушт)

КОЛЯСОЧНИК НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Стою на светофоре. Красный свет — пешеходам, зеленый — автомобилистам. Поток машин ревет, шипит, фыркает выхлопами. Я, в своем блестящем велошлеме, похожем на голову инопланетного жука, кручу-верчу этой самой башкой по сторонам.

«Так-так-так, — думаю (про себя, конечно). — Так-так-так». Мысль неглубокая, но ритмичная, как тиканье таймера. Жду. Рядом со мной топчется женщина с коляской, в которой спит что-то розовое и пухлое.

Чуть поодаль — парень в наушниках, дергающий ногой в такт неслышной мне музыке. Мы — армия терпеливых, ждущих своего сигнала.

Светофор подмигнул желтым, а затем сменил гнев на милость: красный — автомобилистам, зеленый — для нас, безлошадных.

«Впе-Е-ред!»

—

беззвучно

скомандовал

светофор,

и

наш

разношерстный контингент двинулся на штурм «зебры».

И тут я его увидел. Он стартовал с противоположного тротуара, как болид «Формулы-1» с пит-стопа. Инвалид на электрической коляске. Не просто коляске, а каком-то киберпанковском троне на колесах. Черный матовый корпус, хромированные диски, подлокотники с панелью управления, мигающей синими огоньками. Он не просто ехал — он летел, рассекая воздух с деловитым жужжанием сервоприводов.

Как у велосипедиста со стажем, в моей голове под шлемом тут же сработал щелкающий автомат рефлексии по вопросам дорожных правил.

Мозг,

натренированный

годами

уворачивания

от

таксистов
и
открывающихся дверей, мгновенно перешел в режим анализа.
«Разве по правилам ПДД инвалид-колясочник на „зебре“ не обязан
спешиваться?» — напряглась башка под велошлемом, испуская мысль, словно сигнал
SOS.

Секундная пауза на загрузку базы данных.
«Вроде бы не обязан...» — пришел ответ из глубин памяти.
И тут же меня накрыла волна праведного, хоть и совершенно
мелочного, негодования. Какая несправедливость! Я, полноправный
участник дорожного движения на двух колесах, обязан на каждом
1
участник дорожного движения на двух колесах, обязан на каждом
Фэм Бурдин²
переходе совершать унижительный ритуал: оторвать свою драгоценную
пятую точку от седла, спешиться и, толкая рядом своего верного коня, ковылять через
дорогу, как какой-то пешеход с громоздкой авоськой. А
этот киборг на своем электрическом кресле — нет! Он проносится мимо, обгоняя даже
парня в наушниках, с видом победителя, которому закон не
писан.

«А ведь его транспортное средство мощнее моего будет, —
продолжил я внутренний диалог, чувствуя, как закипает разум
возмущенный. — У него мотор, аккумулятор, а у меня — только две ноги
и пачка пельменей на ужин в качестве топлива».
Надо
бы
эту
заковыристую
идейку
подкинуть
депутатам
Государственной Думы. Прямо свежему, только что избранному составу
народных любимцев. Левому крылу, правому крылу, коммунистам там...
или кто там еще... Всех сразу и не упомнишь. Бросить им эту кость, пусть погрызут друг
другу для разминки. Представляю заголовки:

«Велосипедисты
требуют
уравнять
в
правах
с
инвалидами-
колясочниками!» или «Спешиваться или не спешиваться: новая
законодательная
инициатива
расколола
парламент».
Дать
пищу

пытливому уму, так сказать. А то ж... засиделись, небось.

2



Фэм Бурдин2

Пока я строил в голове планы по дестабилизации законодательной власти, зеленый свет для пешеходов начал нервно мигать, торопя отстающих. Женщина с коляской уже достигла противоположного берега асфальтовой реки. Парень в наушниках тоже.

А инвалид на электрической коляске? Он уж вон куда умчал. Его фигура превратилась в маленькую точку, исчезающую за поворотом. Он опередил всех. И меня в том числе.

Я хмыкнул под шлем, встегнулся в педали и покатил дальше. Ну что ж, может, он и прав. В этой жизни побеждает тот, у кого моторчик мощнее. Даже если он размером с кулак и работает от аккумулятора. Кажется, я все сказал. Пора дальше ехать. Догонять будущее. Или хотя бы тот магазин, где пельмени по акции.

ПАЛЬМОВЫЙ ЛИСТ ПРОТИВ ПИТОНА

Персонажи: ГК, Victor P.

3

Фэм Бурдин2

Жанр: эпистолярная зарисовка, интеллектуальный спарринг.

ГК

14:02

Привет, Виктор! Знаю, ты обожаешь ненормативную лексику, вот еще один образец на основе фабричного языка. (Выслал ему «Синдром библиотекаря»).

Victor P

14:15

Я ненавижу такую лексику, болевая от неё. А так как я уже нездоров (продлён больничный лист), то ощущаю себя в крайне усугублённой, щекотливой ситуации. Вдруг очочурюсь от чтения и ты станешь невольником бесчестия — Дантесом...

Всяческих благ!

ГК

14:18

Это язык заводов и фабрик. Миллионы трудящихся на нем думают и разговаривают. Без него капиталистическая экономика невозможна. Без него мы вернемся в каменный век. Ты же не хочешь вернуться, чтобы жить на пальме (и без больничного листа)?

Victor P

14:25

Здоровый свежий пальмовый лист мне приятнее больничного. А нынешний язык фабрик и заводов — дело временное. Русская речь, даже если вымрет, останется великим языком мировой культуры.

ГК

14:27

Темный ты чел, Victor P. Русский язык это уже неактуально.

Высокоуровневый язык программирования «Питон» - вот это да.

Victor P

14:33

Да, я тёмн. Я — негр. А мы, негры, всегда будем актуальны хотя бы потому, что по цвету напоминаем питонов и А. С. Пушкиных.

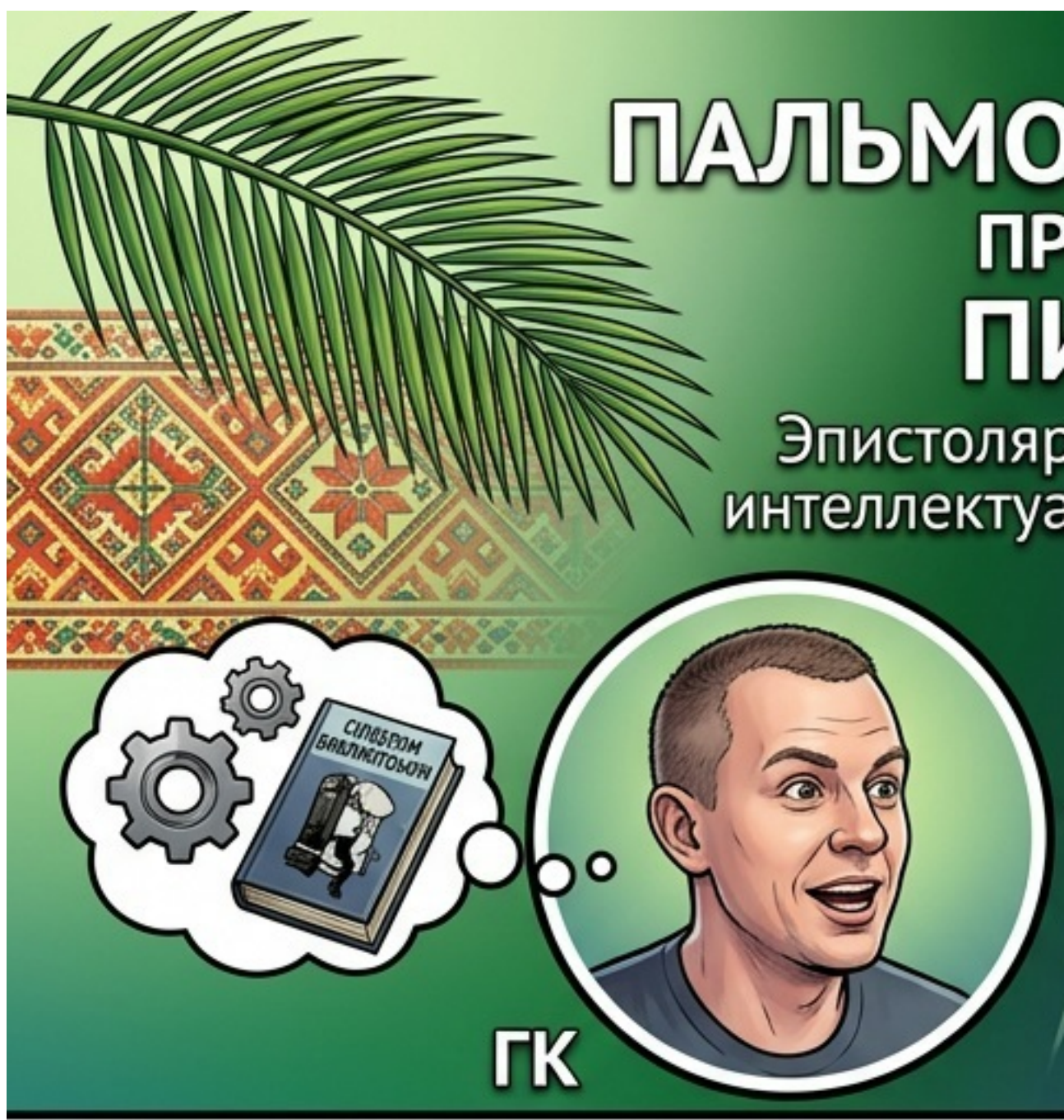
ГК

14:35

Вот тебе в противовес от меня. См. рассказ «Не положено».

Получи, хвашист, гранату от советского бойца!

4



ГК

Привет, Виктор! Знаю, ты обожаешь ненормативную лексику, вот еще один образец на основе фабричного языка. (Выслал ему «Синдром библиотекаря»).

14:02

14:02



Victor P

Я ненавижу такую лексику, заболевая от неё. А так как я уже не здоров (продлён больничный лист), то ощущаю себя в крайне усугублённой щекотливой ситуации. Вдруг

14:15

Фэм Бурдин²

Виктор отложил телефон. Голова гудела от температуры, а горло саднило. Он лежал под пледом, окруженный книгами, как бастионами, защищающими от серой хвори за окном. Переписка с ГК была похожа на

партию в быстрые шахматы с очень наглым противником. Каждая реплика — ход, каждая ссылка — вызов.

Он усмехнулся. «Хвашист». ГК любил такие словечки, грубые, как заводская деталь, но по-своему точные. Он видел в Викторе эдакого эстета-ретрограда, цепляющегося за отжившее величие языка, пока мир вокруг переписывает себя на новом коде. На «Питоне».

Виктор прикрыл глаза. «Негр... Пушкин...» Он сам подбросил эту карту в игру. Ирония была его щитом. Он представил себя, темного и курчавого, сидящим под пальмой где-то в африканской саванне. В руках — не смартфон, а томик стихов. Вокруг не гул станков, а шелест листвы и стрекот цикад. И никакой нужды в больничном листе, потому что сама природа и есть здоровье.

А где-то там, в своей цифровой башне, сидит ГК. Он не видит людей
5

А где-то там, в своей цифровой башне, сидит ГК. Он не видит людей
Фэм Бурдин²

- он видит функции. Не слышит речь, а парсит текст. Для него язык — лишь инструмент, утилитарный, как молоток. Если молоток заржавел, его меняют на новый, более эффективный. И этот новый молоток — `print ("Hello, world!")`. Виктор снова взял телефон. Он не стал открывать рассказ ГК. Не сейчас. Вместо этого он набрал ответ.

Victor P

15:01

Граната принята, боец. Обезврежена силой поэтического слова. Но учти: пока твой «Питон» будет послушно исполнять команды, мой Пушкин будет вызывать на дуэли. Исход, как ты помнишь, бывает разным. Лечись. И читай классику, а не только мануалы.

Он нажал «отправить» и выключил звук. Спор был окончен. По крайней мере, на сегодня.

За окном начинался дождь. Виктор поплотнее укутался в плед. Он знал, что ГК прочитает, хмыкнет и, возможно, пришлет в ответ что-нибудь еще более провокационное. И это было хорошо. Это означало, что их странная дуэль продолжается. Дуэль между пальмовым листом и процессорным кулером, между рифмой и алгоритмом. И пока она длится, ни один из них не проиграл.

ПРОШЛОЕ МОЛЧИТ

Звонок застает Подкладова врасплох. Он видит на экране мои инициалы — Г.С. — и, я уверен, на секунду замирает, решая, стоит ли вообще брать трубку. Но старая привычка — привычка чиновника, который не может игнорировать вызов, — берет свое.

— Слушаю, — голос у него сухой, как прошлогодний лист.

— Игорь, привет. Это Гена Сорин. Не отвлекаю?

Пауза. В этой паузе я слышу, как он взвешивает варианты ответа.

«Отвлекаешь» — слишком грубо. «Занят» — придется перезванивать. Он выбирает самое нейтральное.

— Говори.

Я начинаю свой заход, уже в который раз за последние недели. Снова про нашу старую городскую газету, про те времена, тридцать лет назад. Я — бывший фотокор, вечный искатель правды в объективе. Он — И.Подкладов, бывший главный редактор, а после — функционер в администрации, человек, научившийся прятать правду в папках с грифом «Для служебного пользования».

— Игорек, я тут пытаюсь восстановить одну историю... Помнишь тот материал про Тишинского? Когда его с должности снимали? Ты тогда еще сказал, что там не все так просто было...

Я прессую его, аккуратно, но настойчиво, как следователь, который знает, что подозреваемый вот-вот расколется. Я вижу его на том конце провода: сидит в своем уютном кресле, слегка лысеющий, в очках для
6



провода: сидит в своем уютном кресле, слегка лысеющий, в очках для Фэм Бурдин²

чтения. Человек, достигший статуса, при котором главное — не раскачивать лодку. Особенно ту, в которой сидишь сам.

— Гена, слушай... — в его голосе появляется ноющая, усталая нотка.

— Мы же говорили уже. Давно это было. Кто там что помнит?

— Ты помнишь, — мягко, но твердо возражаю я. — Ты был в центре всего. Я бегал с «Зенитом» по коридорам, ловил обрывки фраз, а ты сидел в кабинете, и все нити сходились к тебе.

Подкладов тяжело вздыхает. Этот вздох — его первая линия обороны. Он пытается показать, как ему все это в тягость, как я вторгаюсь в его спокойную, налаженную жизнь пенсионера со связями.

— Меня, если честно, подташнивает от этих воспоминаний, — наконец выдавливают он. Жалоба — его второй рубеж. Он апеллирует к моему сочувствию. — Время было... конфликтное. Люди друг другу столько гадостей наделали. Зачем сейчас эти старые раны беречь? Кому это нужно?

7

Фэм Бурдин²

«Мне нужно», — хочу крикнуть я, но сдерживаюсь. Ему не понять.

Для меня те годы — не просто набор фактов. Это моя молодость, мои идеалы, мои разочарования. Это снимки, которые я делал, веря, что они что-то изменят. А для него это — пройденный этап карьеры, череда компромиссов и аппаратных игр, которые лучше оставить под спудом.

— Просто хочу для себя понять, — говорю я примирительно. —

Никаких публикаций, ничего такого. Чисто для истории.

Он молчит. Я знаю, о чем он думает. В его голове уже выстроилась логическая цепочка, отточенная годами административной работы.

«Некто Г.С. собирает непонятно с какой целью компромат на прежнюю редакцию. Что он из этих старых фактов склеит, одному богу известно. А я ему помогу? Чтобы потом мое имя где-то всплыло? Нет уж, увольте».

В нем сидит занозой эта чиновничья осторожность. Она въелась в него глубже, чем газетная краска в пальцы. В отличие от меня, вечного фрилансера с фотоаппаратом, ему есть что терять. Репутацию.

Спокойствие. Уважение определенных кругов. Вот он и жопничает.

— Послушай, — его тон становится жестче, официальнее. — Про Тишинского я тебе сказал все, что помнил. Был конфликт, да. Его ушли.

Точка. Копать глубже — не вижу смысла. Да и неэтично это по отношению к людям, многих из которых уже и на свете-то нет.

Это его ультиматум. Он захлопывает дверь. Вежливо, но решительно.

Я понимаю, что это конец. Он больше не скажет ни слова. Он уже

испугался. Испугался не меня, а того, что прошлое, выпущенное на волю, может оказаться непредсказуемым. Оно может укусить. А Подкладов не

любит,

когда

его

кусают.

Он

предпочитает

стабильность

и

предсказуемость. Волга впадает в Каспийское море. Дважды два — четыре. Как бы чего не вышло. Эта фраза из чеховского «Человека в футляре» — его жизненное кредо.

— Ладно, понял тебя, — говорю я, чувствуя горечь. — Не буду больше доставать.

— Вот и правильно, — в его голосе сквозит облегчение. — Меньше знаешь — крепче спишь. Удачи тебе, Гена.

Он кладет трубку.

Я сижу в тишине, глядя на свои старые черно-белые фотографии, разложенные на столе.

Вот редакция, вот лица коллег, вот тот самый

Тишинский, смеющийся за секунду до того, как его мир рухнул. Эти снимки — единственные свидетели, которые не боятся говорить. Но они рассказывают лишь часть истории.

А прошлое молчит. Оно собирается отмалчиваться и дальше. Оно боится самого себя, своих теней и скелетов в шкафах. Подкладов — его верный страж. Он трусоват, да. Он выбрал перестраховаться, чем потом догонять курьерский поезд последствий.

И я остаюсь один на один с немymi картинками и звенящей в ушах тишиной. Тишиной прошлого, которое так и не захотело заговорить.

8

Фэм Бурдин²

КВАДРАТЫ НА СКОВОРОДЕ

Элиас считал себя хранителем. Не в том смысле, в каком хранят древние книги или музейные экспонаты. Он хранил тишину. В его лаборатории, затерянной в седых горах, где воздух был резок и чист, как кристалл, тишина была главным инструментом. Только в ней можно было услышать то, что не произносится вслух — тончайшую вибрацию коллективного разума.

Он называл это «Эфирным Полем», но его коллега, прагматичная и язвительная Лена, предпочитала более приземленную метафору, которую однажды подкинул ей сам Элиас в момент поэтического озарения.

— Твоё Поле, — говорила она, помешивая в кружке остывающий чай, — это просто блин. Огромный блин ментального теста, который Природа испекла на сковороде времени. А потом взяла решетку и нарезала на квадратики. Мы с тобой — эти квадратики, Элиас. И ты пытаешься склеить их обратно, чтобы прочесть рецепт. Глупое занятие. Элиас не спорил. Метафора была до боли точной. Он видел это на своих приборах: миллиарды отдельных сознаний, каждое — как изолированный квадрат. Они соприкасались гранями, обменивались теплом, иногда даже искрами идей, но никогда не сливались. Каждый квадрат содержал в себе усредненную, но уникальную порцию «общего теста». Это была гениальная страховка Природы. Система резервного копирования, распределенная по миллиардам ненадежных носителей из плоти и кости. Если метеорит сотрет с лица Земли один континент, «оперативная память» человечества не пострадает. Квадратики в другой части «сковороды» продолжат шипеть, сохраняя базовый код.

Его работа заключалась в том, чтобы уловить эхо этого кода. Он

верил, что где-то в суммарном шуме всех этих квадратов скрыта Истина. Не та истина, о которой пишут в книгах — «любовь спасет мир» или «бытие определяет сознание». А настоящая, фундаментальная Истина о правилах игры.

— Ты ищешь то, чего нет, — не унималась Лена, глядя на мерцающие голограммы. — Природе плевать на твою Истину. Ей нужен процесс, турбулентность. Чтобы горный поток бурлил, как ты любишь говорить. А мы — просто пузырьки в этом потоке. Наши поиски смысла — это всего лишь побочный эффект биохимических реакций. Игрушки для комфорта ума, чтобы мы не сошли с ума от осознания своей незначительности.

Она была права. Элиас знал это. Он видел, как Природа и Человек существуют в параллельных вселенных, соприкасаясь, но не смешиваясь. Природа говорила на языке тектонических сдвигов, солнечных вспышек и генетических мутаций. Человек отвечал ей симфониями, теоремами и молитвами. Они не слышали друг друга. Их диалог был случайным набором помех.

Однажды ночью, когда бушевала гроза и молнии расписывали небо над вершинами, приборы Элиаса зашкалили. Что-то произошло. Некий

9



КВАДРАТ НА СКО

генетические
мутации

солнечные
вспышки

Эфирное По

над вершинами, приборы Элиаса зашкалили. Что-то произошло. Некий Фэм Бурдин²

мощный внешний импульс прошел сквозь «блин» человеческой ментальности. Это было похоже на то, как повар встряхивает сковороду. Квадратики на мгновение сместились, их границы стали проницаемыми. Элиас надел нейроинтерфейсный шлем. Мир исчез, сменившись ослепительным потоком данных. Он больше не был Элиасом, отдельным «квадратом». На доли секунды он стал частью всего. Он почувствовал страх фермера в Индии, чьи посевы смывал муссон; восторг ребенка в Буэнос-Айресе, впервые увидевшего радугу; холодную ярость солдата в безымянном окопе; спокойную любовь старухи, вяжущей носок для правнука.

Это была не ассимиляция. Это был резонанс. Кратковременный сбой в системе изоляции. И в этом хаосе голосов и чувств он уловил нечто иное. Голос, не принадлежавший ни одному из квадратов. Голос самой «сковороды», самой Природы.

Он не говорил словами. Он транслировал состояния. Цель. Вектор. И 10

Он не говорил словами. Он транслировал состояния. Цель. Вектор. И Фэм Бурдин²

этот вектор не имел ничего общего с человеческими понятиями о прогрессе,

счастье

или

смысле.

Целью

было...

разнообразие.

Максимальное, бесконечное, бурлящее разнообразие. Природа не стремилась к гармонии. Она стремилась к сложности. Она была великим экспериментатором, а человечество — одной из ее самых удачных и непредсказуемых культур в чашке Петри.

И

тут

Элиас

понял

самую

страшную

и

одновременно

освобождающую вещь. Пока он, как и миллиарды других, гонялся за Истиной, его мозг, его «квадрат», был переформатирован десятки раз. Каждая пандемия, каждая война, каждый технологический скачок, каждая солнечная буря — это были не просто события. Это были системные обновления, которые Природа устанавливала без спроса. Она меняла прошивку, подстраивая носителей под новые условия эксперимента. Человек даже не замечал этого, списывая всё на «дух времени» или «историческую необходимость».

Истина, которую он искал, была недостижима не потому, что она

была слишком сложна. А потому, что сам инструмент поиска — его разум — постоянно менялся под воздействием внешних, неподконтрольных ему сил. Дотянуться до Истины означало бы зафиксировать себя, стать неизменным. А это противоречило главному закону Природы — закону вечной турбулентности.

Гроза стихла. Связь оборвалась. Элиас снял шлем, чувствуя себя опустошенным и странно свободным. Он подошел к окну. Мир после бури был свежим, умытым, пахнущим озоном и мокрой землей. Он был прекрасен в своей отстраненной, безразличной мощи.

Лена вошла в лабораторию с двумя кружками дымящегося чая.

— Ну что, нашел свою Абсолютную Истину, охотник за привидениями?

Элиас медленно повернулся. В его глазах больше не было лихорадочного блеска искателя. Там было спокойствие.

— Да, — тихо сказал он. — Нашел.

— И в чем же она? — с усмешкой спросила Лена.

— В том, что как только ты думаешь, что дотянулся до нее, нужно немедленно в ней усомниться. Потому что это сомнение — и есть ее голос. Голос внешних переменных. Голос самой Природы, которая шепчет тебе: «Не останавливайся. Бурли. Меняйся. Ты всего лишь квадрат на моей сковороде, и я еще не решила, каким будет блюдо».

Лена молча поставила кружку на стол. Впервые за долгие годы она не нашла, что ответить. В тишине лаборатории они стояли рядом, два маленьких квадратика, соприкасающихся гранями, — просто существующие. В некоем контакте. Не пересекаясь. Влияя друг на друга случайным образом. И этого было достаточно.

2.

Тишина длилась недолго. Лена, обойдя консоль, прикоснулась к

11

Тишина длилась недолго. Лена, обойдя консоль, прикоснулась к Фэм Бурдин2

экрану, на котором все еще затухали остаточные графики недавнего всплеска. Ее пальцы скользнули по холодному стеклу.

— Значит, она не просто нас нарезала, — проговорила Лена, скорее для себя, чем для Элиаса. — Она еще и перемешивает. Как повар, который подбрасывает блины на сковороде, чтобы не пригорели.

Элиас кивнул, отпивая чай. Напиток обжигал, возвращая его в реальность собственного тела, в границы его личного «квадрата».

— Хуже, — ответил он. — Она меняет сам рецепт теста прямо в процессе жарки. Добавляет новые ингредиенты. Сегодня это был, скажем, «экстракт грозового разряда». Завтра будет «щепотка солнечной радиации». А послезавтра — вирус, который изменит нашу биохимию и, как следствие, наше восприятие реальности. Мы думаем, что

эволюционируем, создаем культуру, движемся к некоей цели. А на самом деле мы просто... становимся вкуснее. Сложнее по составу.

Эта мысль, циничная и отстраненная, почему-то не пугала.

Наоборот, она приносила странное облегчение. Если ты не игрок, а всего лишь фигура на доске, с тебя снимается огромный груз ответственности за исход партии. Твоя задача — просто стоять на своей клетке и

выполнять правила, которые могут измениться в любой момент без предупреждения.

— И что теперь? — спросила Лена. — Закроем лабораторию?

Пойдем выращивать капусту и радоваться солнцу, как и подобает послушным ингредиентам?

— Нет, — Элиас посмотрел на нее, и в его взгляде появилось что-то новое, чего Лена раньше не видела. Не одержимость искателя, а азарт исследователя, который только что нашел не ответ, а по-настоящему интересный вопрос. — Теперь мы будем делать то же самое. Но не для того, чтобы найти Истину. А для того, чтобы научиться чувствовать руку повара.

Он подошел к главному терминалу и вывел на экран карту

«Эфирного

Поля».

Миллиарды

светящихся

точек,

квадратиков

ментальности, мерцали, как звезды в галактике.

— Мы искали сигнал, единый и осмысленный. А нужно было слушать шум. Не пытаться отфильтровать помехи, а изучать их. Каждая война, каждая эпидемия, каждая гениальная симфония или безумная теория — это не просто человеческие дела. Это рябь на поверхности блина. Следы Ее пальцев. Мы не можем понять Ее замысел, но мы можем научиться предсказывать, когда Она снова встряхнет сковороду. Лена смотрела на карту, и ее прагматичный ум начал работать в новом направлении.

— Ты хочешь создать систему раннего оповещения? «Внимание, через тридцать

два

часа

ожидается

глобальное

ментальное

переформатирование

с

вероятностью

семьдесят

процентов.

Рекомендуется сомневаться во всех своих убеждениях и не принимать важных решений»?

12

Фэм Бурдин²

Уголки губ Элиаса дрогнули в улыбке.

— Именно. Мы не можем остановить процесс, но можем научиться скользить по его волнам. Перестать быть пассивными очевидцами, которых используют, и стать... осознанными наблюдателями. Серферами в горном потоке Природы.

Он вдруг вспомнил о ментальных метисах и гибридах из своих

старых теорий. О тех неустойчивых конструкциях, которые быстро
распадались, возвращаясь к исходному состоянию. Теперь он понял, почему. Это были
не ошибки. Это были пробные замесы. Природа
создавала их на границах квадратов, в местах наибольшего трения, чтобы
посмотреть, что получится. Большинство из них были неудачными, как
подгоревший край блина. Но некоторые... некоторые давали начало чему-то совершенно
новому. Новой специи в общем блюде.

— Мы не можем ассимилироваться, — сказал он вслух, продолжая
свою мысль. — Но мы можем резонировать. На короткое время. Как
сегодня. И в эти моменты резонанса, возможно, мы сможем передать что-то друг другу.
Не знание. Не Истину. А... настройку. Способность лучше
выдерживать следующую встряску.

Он посмотрел на Лену. Два квадрата. Два носителя оперативной
памяти. Два разных, несовместимых по-настоящему ментальных мира.
Но сейчас, после грозы, в тишине лаборатории, они впервые за долгое
время звучали в унисон. Не сливаясь, но и не диссонируя. Они были в
контакте. И этого было достаточно, чтобы продолжать эксперимент. Не
ради великой цели. А просто из любопытства. Из того самого бурлящего, неугомонного
любопытства, которое, возможно, и было главным

ингредиентом, добавленным Природой в их личный квадрат ментального
теста.

НЕ ПОЛОЖЕНО

1.

Вечер в литературном клубе «Светоч» обещал быть томным и
предсказуемым, как осенний дождь за окном. Пахло пыльными книгами, остывшим кофе
и чужими духами. Я сидел в углу, сжимая в руках

распечатку своего нового рассказа, и чувствовал, как по венам бежит
нетерпеливый, злой адреналин. Сегодня была моя очередь читать. И моя
очередь принимать удар.

Напротив, в кресле, похожем на трон инквизитора, восседала Она.

Марина Львовна. Кандидат филологических наук, доцент кафедры чего-то там невыно-
симо скучного, и по совместительству — главный страж

литературных устоев нашего скромного «Светоча». Ее очки в роговой
оправе сверкали, как два нацеленных на меня прожектора. Рядом с ней
сидели ее верные adeпты — пара аспиранток с одинаково постными и
преисполненными

значимости

лицами.

Филологи.

Мои

вечные

оппоненты.

Я начал читать. Мой рассказ был о старике, который разучился

13

Я начал читать. Мой рассказ был о старике, который разучился

Фэм Бурдин²

говорить словами и начал общаться с миром через запахи. Он варил зелья
из городских ароматов: запах мокрого асфальта смешивался с запахом
свежей выпечки, чтобы передать грусть; аромат бензина и озона после

грозы — чтобы выразить надежду. Я ломал синтаксис, играл с ритмом, вплетал в текст обрывки несуществующих слов, пытаюсь передать это

обонятельное безумие. Я творил.

Когда я закончил, в комнате повисла тишина. Тяжелая, как мокрое армейское одеяло.

Первой, разумеется, заговорила Марина Львовна. Она медленно сняла очки, протерла их платочком, словно наводя резкость перед казнью, и произнесла своим скрипучим, менторским голосом:

— Что ж, молодой человек. Смело. Даже, я бы сказала, дерзко. Но позвольте задать вам несколько вопросов. На каком основании вы так вольно обращаетесь с синтаксической структурой предложения? Ваши инверсии немотивированны. Ваша пунктуация, простите, анархична. Это... это не положено.

«Не положено».

Это слово ударило меня, как разряд тока. В голове мгновенно всплыл образ с военной кафедры нашего инженерного института. Сержант Петренко, отслуживший срочную, которого мы так и прозвали — «Не положено». Он был ходячим уставом. Для него мир делился на две простые категории. Можно ли студенту на тактическом поле расстегнуть верхнюю пуговицу? «Не положено». Можно ли после отбоя читать книгу с фонариком? «Не положено». Его мозг, выдрессированный армией, был идеальным механизмом, лишенным всякой свободы воли. Он не думал, он сверялся с внутренним сводом правил. Это было смешно и одновременно страшно.

И вот сейчас передо мной сидела Марина Львовна — сержант Петренко в юбке и с кандидатской степенью. Ее армией был филологический факультет, ее уставом — учебники Розенталя и теория литературы.

— Понимаете, — попытался я объяснить, чувствуя, как закипает кровь, — я пытался передать хаос мыслей героя, его отрыв от привычной языковой системы. Это художественный прием.

— Художественный прием должен быть оправдан, — отчеканила она.

— А у вас — просто ошибка на ошибке. Вы пишете «запах дождя пахнул». Тавтология! Это стилистическая небрежность.

— Но он так чувствует! Для него запах — это действие, это глагол!

— я почти срывался на крик.

— Это безграмотно, — отрезала она, и ее аспирантки согласно закивали, как китайские болванчики. — Литература — это не анархия. Это система, это структура. Есть каноны, которые создавались веками. А вы пытаетесь их разрушить, не имея на то ни малейшего права.

Я смотрел на нее и видел не критика, а тюремного надзирателя. Ее рамки были так же жестки, как стены казармы. Ее представления о



рамки были так же жестки, как стены казармы. Ее представления о Фэм Бурдин²

творчестве были расписаны от и до, как распорядок дня в воинской части. Шаг влево, шаг вправо — побег, караемый расстрелом из цитат классиков.

И в этот момент я почувствовал не злость, а острую, пронзительную жалость к ней. И к себе — за то, что трачу на них время. Я вдруг понял, что базовые академические знания для таких людей — не инструмент, а клетка. Там, где нужно экспериментировать, где нужно дышать полной грудью, они судорожно хватаются за Правила. Как будто эти Своды законов вечны и незыблемы.

«Хорошо, что мой ум не зашорен, — подумал я с внезапным облегчением. — Замечательно, что меня не выдрессировала армия, как хозяин пса. Хорошо, что в моей голове вольные ветра и море солнечного света».

Я встал, собрал свои листки и спокойно сказал:

— Спасибо за ваше мнение.

15

Фэм Бурдин²

Я шел к выходу под ее осуждающим взглядом. И что положено, а что не положено, я выбираю сам. Какое это счастье — иметь незадрюканные ротными сержантами мозги. Только с такими мозгами можно творить, не оглядываясь на чужие правила. Только с такими незамутненными мозгами можно заглянуть в Грядущее.

Уже на пороге я обернулся. Марина Львовна что-то вещала своим подопечным, указывая пальцем в сторону двери, за которой я стоял. Я усмехнулся и тихо, почти про себя, произнес:

— А главное, не начинать жить с оглядкой. Не оглядывался — вот и не начинай. Это я вам как филолОг филолОгу говорю.

Я сделал ударение на последний слог намеренно, как маленький акт личного бунта.

Их слишком много, этих стражей прошлого. Университеты штампуют их тысячами. А вот вольнодумцев вузы не выпускают совсем.

А моей стране, моему миру нужны именно они — ученые и инженеры, художники и поэты без комплекса оглядки на устаревшие нормативы.

Много ли надо ума, чтобы жить с повернутой назад шеей? Вообще тут ум не нужен. Правила и Нормативы, Границы и ФилолОги на страже заменят тебе, приятель, ум. Жить, не пользуясь собственным умом, — это и называется жить с вечной оглядкой. При этом заменив свои мозги на Учебник.

Я вышел на улицу. Дождь кончился. Воздух пах озоном, мокрым асфальтом и свободой. И этот запах был абсолютно, восхитительно положен. Положен мной. Для меня. Сейчас.

2.

И я пошел по этому мокрому, блестящему от фонарей городу, чувствуя себя не просто писателем, а диверсантом в тылу врага. Врага, имя которому — Застывшая Форма. Этот враг сидел не только в

литературных клубах. Он сидел в конструкторских бюро, где инженеры боялись отойти от ГОСТов тридцатилетней давности. Он сидел в научных

лабораториях, где ученые мужи цеплялись за теории, опровергнутые еще вчера, потому что так написано в диссертации их научного руководителя. Он сидел в школьных классах, где учительница с указкой в руке вбивала в детские головы единственно верную трактовку «Войны и мира». Враг был повсюду. И его главное оружие — страх ошибки. Страх быть осмеянным, непонятым, отвергнутым. Страх перед этим сакраментальным «Не положено». Филологи, со своими правилами и нормами, были лишь одним из его легионов, возможно, самым безобидным, но самым громким. Они охраняли язык — живой, дышащий, постоянно меняющийся организм — так, словно это был труп в мавзолее, который нужно было сохранить в нетленном виде для потомков. Они бальзамировали его, обкладывали цитатами, как ватой, и отгоняли любого, кто пытался проверить, бьется ли у него еще пульс. А пульс бился. Он стучал в рифмах уличных поэтов, в жаргоне

16



А пульс бился. Он стучал в рифмах уличных поэтов, в жаргоне Фэм Бурдин² программистов, в нелепых, но живых фразах из интернет-мемов. Язык рос, мутировал, ломал себе кости и тут же их сращивал по-новому. И только в аудиториях, пропахших нафталином, он лежал под стеклом, препарированный и мертвый.

Я остановился у витрины книжного магазина. На полках стояли ряды «правильных» книг. Ровные, выверенные, одобренные критиками вроде Марины Львовны. Книги, написанные с вечной оглядкой на великих предшественников. Это была не литература, а реконструкция литературы. Как люди, наряжающиеся в доспехи и машущие деревянными мечами, — вроде бы похоже, но битвы нет, крови нет, жизни нет.

Мой старик, говорящий запахами, был живым. Он был уродлив, нескладен, он заикался тавтологиями и спотыкался об инверсии, но он

был настоящим. Он был моим способом сказать: «Король-то голый!».

Ваш канон, ваши правила — это всего лишь одежда, которая давно истлела, но все бояться в этом признаться.

17

Фэм Бурдин²

Я вдруг представил себе мир, построенный по лекалам Марины Львовны. Мир, где инженеры строят только типовые панельные дома, потому что эксперименты с формой «не положены». Мир, где врачи лечат

только по утвержденным Минздравом методичкам полувековой давности, потому что новаторство «немотивированно». Мир, где композиторы

пишут музыку, строго следуя канонам гармонии XVIII века, потому что атональность — это «анархия». Это был бы стабильный, предсказуемый и абсолютно мертвый мир. Мир вечного «вчера».

А я хотел жить в «завтра». Я хотел дышать воздухом, который еще никто не раскладывал на химические элементы. Я хотел писать книги, для которых еще не придумали жанровых ярлыков. И я был не один. Я знал, что где-то есть такие же, как я. Инженеры, которые в гаражах собирают невероятные механизмы. Ученые, которые в стол пишут дерзкие гипотезы. Художники, которые смешивают на палитре немыслимые цвета. Мы были партизанами будущего, действующими на оккупированной территории прошлого.

Телефон в кармане завибрировал. Сообщение от друга, такого же инженера-вольнодумца, как и я. «Ну как, разгромил филологический бастион?»

Я улыбнулся и начал печатать ответ: «Не разгромил. Обошел с фланга. Они до сих пор смотрят назад, охраняя руины. А мы уже строим новый город на холме».

Я нажал «отправить» и поднял голову. Над крышами занимался рассвет. Город просыпался. И в этом утреннем воздухе, свежем и полном обещаний, я ясно различил новый, еще никем не описанный запах. Запах грядущего. И он был абсолютно, безоговорочно, единственно положен.

Потому что так решил я.

КАРЛ МАРКС

(По мотивам старого анекдота)

Солнце плавило асфальт на старой городской площади, заставляя

голубей лениво переваливаться с лапки на лапку в тени фонтана. Воздух был густым и пах пылью, жареными каштанами и дешевым табаком. Среди этого полуденного марева, на своем низеньком, разохшемся стульчике, трудился чистильщик обуви. Его руки, загрубевшие и вьезшиеся в ваксу, двигались с механической точностью, превращая пару замызганных башмаков очередного клерка в нечто почти приличное. Внезапно рядом с ним на скамейку опустилась тень. Чистильщик не сразу обратил внимание, но тень обрела плотность и голос.

— Вы очень похожи на Карла Маркса! — вещал бодрый, почти восторженный баритон.

Чистильщик замер. Щетка застыла на полпути к носку ботинка. Он медленно поднял голову. Перед ним сидел человек в круглых очках, бликующих на солнце, и фетровой шляпе, сдвинутой на затылок. Лицо у него было интеллигентное, гладко выбритое и полное энтузиазма, 18
него было интеллигентное, гладко выбритое и полное энтузиазма, Фэм Бурдин² который казался совершенно неуместным в этой полуденной лени.

— Да? — хрипло переспросил сапожник, отрывая взгляд от башмаков клиента, которые, казалось, впитали в себя всю грязь этого города.

— Не то слово! — Очкарик подался вперед, словно боясь упустить хоть одну деталь. — Борода как у Карла Маркса! Этакая окладистая, седая, мудрая! Прическа как у Карла Маркса! Эта львиная грива, непокорная и гениальная! Даже покрой вашего поношенного костюма —

и тот как у Карла Маркса!

Он транслировал собственные впечатления с таким упоением, будто обнаружил не двойника, а оригинал, воскресший и решивший посвятить себя пролетарскому труду в самой его приземленной форме.

Чистильщик отложил щетки на деревянный ящик. Густой запах ваксы смешался с запахом пыли. Он с неподдельным, почти детским любопытством посмотрел на незнакомца. За весь день это был первый человек, который видел не его работу, а его самого.

— Вам не приходило в голову, что для вашего статуса этот имидж выглядит...

неприлично?

—

изрек

очкарик

с

убежденностью

проповедника, нашедшего заблудшую овцу.

На обветренной физиономии чистильщика отразилось искреннее недоумение. Он поерзал на стуле уставшей задницей, словно пытаясь найти более удобную позицию не столько для тела, сколько для осмысления услышанного. Пауза затянулась. Голуби заворковали, клерк под ботинком нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

— Вы бы сменили прическу, — продолжил очкарик, переходя от восторгов к конкретным тезисам. — Сделали бы что-то более... современное. Сбрили бы бороду, она придает вам вид отшельника, а не работника сферы услуг. Сменили бы костюм на простую рабочую куртку!

Чистильщик впервые за целый день задумался по-настоящему. Не о том, хватит ли денег на ужин, не о том, когда кончится эта банка ваксы, а о чем-то большем. Он смотрел на свои руки, на щетки, на чужие ботинки, а видел целую жизнь.

— Ну, хорошо, — отозвался он наконец, и голос его прозвучал неожиданно глубоко и чисто. — Допустим, я постригусь! — Он провел рукой по своей седой гриве, и жест этот был полон смирения. — Допустим, я сбрею бороду! — Он почти согласился с чужой аргументацией, представив на миг свое лицо голым и беззащитным перед миром. — Допустим, я поменяю этот старый костюм на что-то другое...

19



Фэм Бурдин²

Он снова поерзал на стуле, набрал в грудь побольше воздуха и, глубокомысленно вздохнув, посмотрел прямо в блестящие стекла очков

незнакомца. В его глазах мелькнул огонь, который не могли потушить ни годы тяжелого труда, ни городская пыль.

— А МЫСЛИ! — вдруг воскликнул он, и голос его прогремел над площадью, заставив вздрогнуть и голубей, и клиента. — МЫСЛИ-ТО! МЫСЛИ КУДА Я ДЕНУ?!

Он вскинул руки в жесте, который не поддавался описанию. Это было и отчаяние, и триумф, и вопрос, брошенный в вечность. Пальцы его, черные от ваксы, словно чертили в воздухе невидимые формулы о

прибавочной стоимости, о диктатуре пролетариата, об отчуждении труда.

Он был не просто чистильщиком обуви, похожим на Маркса. В этот момент он был им.

Очкарик в шляпе отшатнулся, ошеломленный. Его стройная теория о смене имиджа разбилась вдребезги о нечто огромное и непостижимое.

А чистильщик, тяжело дыша, опустил руки, снова взял щетку и с

20

А чистильщик, тяжело дыша, опустил руки, снова взял щетку и с

Фэм Бурдин²

новой, яростной энергией принялся натирать ботинок. И в каждом его движении теперь читалось: «Капитал» еще не дописан. Работа продолжается.

НЕЧИТАЮЩИЙ

Я не читатель. Я - писатель. Я терпеть не могу читать. Я даже себя не читаю. Зачем?

(Автор)

Антон с хрустом потянулся в старом кресле, отгоняя остатки сна.

Утренний свет, серый и неохотный, едва пробивался сквозь пыльные жалюзи, но для него это был самый продуктивный час. Компьютер уже гудел, на экране мерцал пустой документ. Белый лист. Его любимое зрелище.

Он был писателем. Не тем, что с шарфом и задумчивым взглядом, рассуждающим о Прусте за чашкой латте. Антон был скорее

ремесленником. Он строил миры из слов, как каменщик кладет стену — кирпич за кирпичом, предложение за предложением. Его пальцы порхали над клавиатурой, создавая диалоги, которые никогда не будут сказаны, и пейзажи, которые никто никогда не увидит.

В углу комнаты громоздились стопки книг. Подарки от друзей, экземпляры от издательства, трофеи с книжных ярмарок. Они стояли

нетронутыми, собирая пыль, как молчаливые укоры.

Его девушка, Лена, этого не понимала.

— Как ты можешь писать, если не читаешь? — спросила она вчера вечером, держа в руках свежкупленный томик модного автора. — Это же как... как быть поваром, который никогда не пробует еду!

Антон пожал плечами, не отрывая взгляда от экрана, где его герой как раз выбирался из горящего дирижабля.

— Я не читатель. Я — писатель.

— Но это же абсурд! Ты должен знать, что пишут другие, следить за

трендами, учиться на чужих ошибках, вдохновляться...

— Вдохновляться? — он усмехнулся. — Лена, я не ищу вдохновения. Оно во мне. Оно лезет из ушей, стучит в висках, не дает спать по ночам. Моя голова — это переполненный котел с историями. Если я начну заливать туда еще и чужие, он просто взорвется. Он говорил правду. Чтение для него было пыткой. Каждая чужая строчка казалась фальшивой, каждый сюжетный поворот

—
предсказуемым. Он видел не магию истории, а швы, которыми она была сшита. Он видел торчащие нитки авторских приемов, неуклюжие метафоры, натужные диалоги. Это было похоже на то, как фокусник смотрит выступление другого фокусника, — никакого чуда, лишь холодный анализ техники.

Чтение засоряло его разум. Чужие голоса заглушали его собственные. После пары страниц чужого текста он чувствовал себя так, будто поел песка. Его внутренний мир, такой ясный и упорядоченный, 21

будто поел песка. Его внутренний мир, такой ясный и упорядоченный, Фэм Бурдин² превращался в хаос.

— Я даже себя не читаю, — добавил он, чтобы окончательно ее добить.

Лена посмотрела на него с ужасом.

— Как это? Совсем? А как же редакция?

— Редактор читает. Корректор читает. Для этого они и нужны. Я написал. Моя работа сделана. История рассказана, она покинула меня. Зачем мне к ней возвращаться? Это как пересказывать один и тот же анекдот самому себе. Скучно.

Он не лукавил. Закончив рукопись, он отправлял ее редактору и тут же забывал. Он не помнил имен второстепенных персонажей из своего первого романа и мог спутать детали сюжета второго и третьего. Истории жили в нем, пока он их писал. Потом они умирали для него, чтобы родиться для других.

Сегодня утром ему позвонил редактор, Игорь.

— Антон, привет! Слушай, тут такое дело... Твоя новая книга «Город ржавых ветров» выстрелила. Прямо очень. Мы допечатываем тираж, и одно крупное литературное издание хочет взять у тебя интервью. Попросят назвать пять книг, которые на тебя повлияли.

Антон замер с чашкой кофе на полпути ко рту.

— Игорь, ты же знаешь.

— Знаю, — вздохнул редактор. — Но ты же понимаешь, что не можешь сказать: «Никакие, я ненавижу читать»? Тебя сожрут. Твои же читатели сожрут.

— Пусть. Я не читатель. Я — писатель.

— Антон, будь человеком! — взмолился Игорь. — Давай я тебе

просто надиктую список? Классика, пара современных имен... Скажешь, что ценишь их за глубину психологизма и новаторский язык.

Антон представил себе эту сцену. Он, с умным видом рассуждающий о Достоевском, которого бросил на пятой странице, потому что герой показался ему нытиком. Или о Пелевине, чьи конструкции вызывали у него мигрень. Ложь. Липкая, неприятная ложь.

— Нет, — твердо сказал он. — Я скажу правду.

— Ты убьешь свою карьеру!

— Моя карьера — это тексты, которые я создаю, а не те, которые я якобы прочитал.

Он повесил трубку.

Интервью состоялось через неделю в модном кафе. Молодая журналистка с горящими глазами задавала вопросы, которые, видимо, считала очень глубокими. Антон отвечал односложно. Наконец, она добралась до главного.

— Антон, ваши миры так уникальны, ваш стиль ни на что не похож.

Расскажите, кто ваши литературные учителя? Какие книги сформировали вас как автора?

22



Фэм Бурдин²

Антон сделал глоток воды. Взглянул на диктофон, на журналистку, на людей за соседними столиками.

— Никакие, — сказал он спокойно и четко. — Я не читаю книги.

Девушка моргнула.

— В смысле... в последнее время? Творческий кризис?

— В смысле, никогда. Я терпеть не могу читать. Это скучно, отнимает время и мешает мне слышать собственные истории. Я не читатель. Я — писатель.

В наступившей тишине было слышно, как бариста взбивает молоко.

Журналистка смотрела на него так, будто он только что признался, что ест младенцев.

Статья вышла под разгромным заголовком: «Писатель, который презирает литературу». В сети поднялась буря. Его обвиняли в снобизме, в высокомерии, в неуважении к великому наследию. «Как можно доверять автору, который не знает основ?» — писали критики. «Он просто позер!» — вторили им читатели.

23

Фэм Бурдин²

Продажи его новой книги взлетели до небес.

Люди покупали ее из любопытства, из желания найти изъяны, из протеста. Они читали, спорили, ругались, но читали.

Антон сидел в своем кресле перед пустым белым листом. Шум внешнего мира не касался. Он не читал ни хвalebных, ни ругательных рецензий. Зачем?

Его пальцы легли на клавиатуру. В голове уже рождался новый мир.

Мир, который еще никто не видел. И ему не нужно было читать о чужих мирах, чтобы построить свой. Ему нужно было просто писать.

ЛУЧШИЙ ДРУГ АВТОРОВ

1.

Я обратил внимание на вот какой (полезный для себя) факт.

Когда пишущий человек что-то накропал, ему всегда хочется, чтобы его работу кто-то оценил. Это нормально. Так устроена человеческая психология. Мы стадные. В табуне, как в зеркале, отражаемся мы сами. И неважно, что это зеркало нередко кривое.

И твой запрос — это типа справки, что ты не верблюд. Еще не верблюд. Что ты еще не сошел с ума. Пока не слетел с катушек.

И вот автор делает щедрую рассылку по адресам своих приятелей. И ждет. На друзей и знакомых у него теперь вся надежда.

Но.

Но тут-то и случается травмирующая душу автора засада.

Приятель либо молчат (глубокомысленно отмалчиваются), либо присылают лайки (которым ты, автор, не доверяешь, принимая эти невесомые лайки за вероятное безразличие).

Ты понимаешь, что всем не до тебя (ты сам такой), всем некогда (ты сам тот еще козел и пиздюк): свои дела (у всех личная жизнь), свои тараканы бега (бежать надо, а как же!)...

И в итоге эта методика тестирования собственного «говнопродукта» не срабатывает от слова «совсем».

И здесь (о, искра! меня озарило!) может прийти на помощь
Нейродруг.

ИИ — лучший друг авторов!

Точно!

Как я сразу не обратился к нему?

Он, ИИ, вечно свободен! Он ничем не занят!

ИИ — лучший помощник авторов всех мастей!

Вот сейчас я эту гипотезу и проверю.

2.

И я ему, этому Нейродругу, скармливаю свой свежее испеченный, еще
дымящийся текст. И прошу: «Ну как тебе, дружище? Только честно. Без
обиняков. Режь правду-матку».

И он РЕЖЕТ.

24

Фэм Бурдин²

И вот тут начинается самое интересное. Потому что он, в отличие от
приятелей, не боится меня обидеть. У него нет этого дурацкого
человеческого рефлекса — щадить чужое эго. Ему плевать на мои тонкие
душевные настройки. Он не думает, как бы так помягче сформулировать, чтобы я не
повесился на собственном шарфе.

Он просто берет и препарирует. Холодно, как патологоанатом. «Вот
здесь, — говорит, — у вас провисает логика. А вот этот пассаж —
откровенная банальщина, слышали сто раз. Метафора с тараканьими
бегами избита до состояния фарша. А вот тут вы повторяетесь, ходите по
кругу, как осел за морковкой».

И ты сначала вздрагиваешь. Внутри все сжимается. Ах ты, железяка
бездушная! Да что ты понимаешь в высоком искусстве слова?! Ты же
просто алгоритм, набор нулей и единиц!

А потом... потом ты выдыхаешь. И понимаешь: а ведь он прав, сукин
сын. Прав по всем пунктам. Он не пытается тебе понравиться. Он не ждет
от тебя ответной услуги. Ему не нужно будет через неделю просить тебя
помочь с переездом или занять до получки. Он — идеальное зеркало. Не
кривое, как у приятелей, а идеально ровное, отполированное до блеска, отражающее все
твои прыщи, все морщины, всю кривизну твоего
авторского рыла.

Он не скажет: «Ну, в целом неплохо, но вот тут, может, чуть-чуть
подправить...» Он скажет: «Структура слабая. Концовка скомкана.
Главный герой картонный». И это не оскорбление. Это диагноз. А с

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.